

Галина
ЩЕРБАКОВА

*Мандариновый
год*



- [Галина Щербакова](#)
 - [***](#)
 - [notes](#)
-

Галина Щербакова
Ей во вред живущая

* * *

«Ой, лышенко! Рятуйте мене! Рятуйте!» – закричала Вера Ивановна, и хоть никто ее не услышал, потому что закричала она не вслух, а про себя. «Вот же! Кричу! – подумала. – Ненормальная я, что ли?»

Вера Ивановна боковым зрением посмотрела на библиотекаршу, проверяя, не заметила ли та, что она про себя кричит. Но та смотрела мимо Веры Ивановны, и глаза ее помаргивали часто и подобострастно. Именно помаргивание библиотекарши вернуло Вере Ивановне самое себя, и она сказала голосом, каким говаривала всегда первого сентября на первом уроке, – звонко и уверенно:

– А я думала, ты умерла. Ты ж была страшная, как мертвяк... Кожа да кости.

– Выжила, – ответила Эля.

«Да что ж это такое? – снова без звука закричала Вера Ивановна. – Да что ж это такое, Господи? Чего я кричу? Что я, виноватая, что ли? Что мне ее жизнь или ее смерть? А раз она оказалась живая, то совсем хорошо. Я не монстр какой, чтоб радоваться, что человек живой, а не покойник...» Но именно на этом месте Веру Ивановну и подстерегал внутренний крик, из которого сам собой делался вывод: хорошо бы быть Эле мертвой.

Надо было быстро, в одну секунду мобилизоваться. Надо было, чтоб ни Эля, ни подслеповатая библиотекарша ничего не заметили.

Каждый человек имеет в запасе свою спасительную молитву на все потрясения. Была такая молитва и у Веры Ивановны. Она мигом собирала вокруг себя все хорошее в своей жизни – людей, вещи, события. И плохое сквозь хорошее не проходило. Набиралось приличное количество хорошего, что свидетельствовало о том, что жизнь Веры Ивановны была добропорядочной, упорядоченной и правильной, и сейчас, глядя прямо на Элю – тьфу, тьфу, тьфу! – Вера Ивановна быстренько стала творить свою молитву.

«Дом у меня – полная чаша! – беззвучно бормотала Вера Ивановна Эле и библиотекарше. – Коля меня только Веруней, Веруней... Сто тридцать два рубля пенсии у меня без всякого

выйдет... Я синтетику, не считая колготок, уже лет десять не ношу... «Лада» у нас как с картинки... И на черный день копеечка... По городу иду, все: «Вера Ивановна, Вера Ивановна!» На Восьмое марта без подарков никогда не живу... Дочка пять лет на Кубе, туда-сюда самолетом и по-испански как по-русски... И сын учится дай Бог каждому, на фестивале был делегатом... Два раза по телевизору показывали... «У вас дети, Вера Ивановна, со знаком качества», – все говорят. Да захоти она сейчас куда поехать или что купить, Коля одно: «Веруня, твое дело... не препятствую...» Хорошая жизнь, как пригнанный штакетник. Ни одна чужая собака не заскочит. Нечего кричать и паниковать. Совсем это зря глупое «рятьте!» Нечего рятовать. Это у нее от неожиданности... Она действительно не ожидала Элю увидеть. Сколько это они не виделись? Лет, считай, тридцать пять... Она и думать про нее забыла, что была такая Эля... Эльвира Зайцева. А вот сердце ее чуяло, что не надо ехать в этот санаторий. Она Коле так и сказала, а он сразу свое, привычное: «Не надо, так и не надо. Не неволю...» Потом подумалось: а почему не поехать? Ведь то, что «сердце что-то там чует» – не причина и причиной быть не может. Мало ли что покажется? Это давление. Нервы. Профессиональная, можно сказать, болезнь. Попробуйте сейчас поработать в школе. И она сказала: поедем! Чего это ради я в чем-то себе должна отказывать? И поехали. И так удачно добрались, все им было под ноги – и самолет, и машина. И номер дали с видом на море, и у одеял оказался любимой ее цвет – бирюзовый. Вышла на балкон, стала дышать открытым ртом, не воздух – вино. Поцеловала Колю. «Хорошо, что приехали».

В столовой их тоже хорошо посадили, можно сказать, на лучшие места.

За соседним столом сидела женщина. Вера Ивановна в первый же день отметила: какая невидная... Волосешки гребешочком прихвачены, редкие такие волосешки... У Веры Ивановны всегда первый взгляд – на волосы. Потому что с этим у нее не просто хорошо – замечательно. До сих пор грива и ни одной сединки... Хоть вверх подымай, хоть по плечам спускай – есть что. А эта сидела скукоженная такая женщина с гребешком на темечке и в больших, как мотоциклетные, темных очках. И ела она нелепо, к тарелке наклонялась, считай, носом, а ложку несла ко рту осторожно,

медленно, как на далекое расстояние. Вера Ивановна тут же Колю в бок толкнула: «Смотри, как чудно ест...» «Близорукая», – глупо ответил Коля, и она на него рассердилась. «Думай что говоришь. Если человек близорукий, зачем тогда очки черные?! Почему ты всегда говоришь не думая?»

А это была Эля. И они ходили друг мимо друга, пока в библиотеке на столе Вера Ивановна не увидела книжку, на которой буквами вразброс было написано: «Эльвира Зайцева».

– Это что за Эльвира? – сказала Вера Ивановна, насмешливо беря книгу. Она была литератором и всех писателей, которых надо знать, давно знала. Она принесла сдавать Юлиана Семенова, которого читают все, и Паустовского, которого читают любители природы. Поэтому она так и сказала насмешливо: «Это что за Эльвира, которую я вдруг не знаю?»

Та Эльвира из памяти так и не всплыла.

Библиотекарша сделала почему-то круглые испуганные глаза и посмотрела куда-то в сторону. Вера Ивановна что-то почувствовала, повернулась, и из-за стеллажей вышла эта неказистая, с гребешком на темечке, каким-то оскорбительным – это точно – для Веры Ивановны жестом сняла мотоциклетные очки и сказала:

– Это я Эльвира Зайцева. А ты Вера. Я все время смотрю на тебя и думаю: ты или не ты?.. А сейчас поняла: ты...

Вот тут Вера Ивановна и закричала «рятуйте». И стала быстренько проводить ревизию собственной хорошей жизни, чтобы победить существование этой самой Эльвиры.

– А я думала, ты умерла, – сказала Вера Ивановна, а библиотекарша посмотрела на нее с ужасом и бормоча: «Что вы такое говорите, женщина, что вы такое говорите?»

Эльвира же в упор разглядывала Веру. Жадно так разглядывала, будто она, Вера Ивановна, редкая картина, до которой ее наконец допустили. И уж все на этой картине хочется рассмотреть: и складочки на платье, и морщинки на лице, и раму, и гвоздик в стенке, на которой картина повешена.

Вера Ивановна просто дернулась от такого разглядывания, хотела сказать что-то резкое (она человек прямой и резкий), но Эльвира сказала раньше:

– Вот ты какая, значит... Не могла тебя представить. – И продолжила: – Пойдем, посидим.

Они вышли из библиотеки и сели на лавочку.

Пока выходили, Вера Ивановна заметила: библиотекарша сползшую на пол шаль на Эльвире поправила, как будто Эльвира ей родная. А ведь грубая, между прочим, женщина, эта библиотекарша: «Сумки оставляйте у входа. Я за вас платить не намерена», – это она так отдыхающих встречает. Как бандитов. Эльвире же концы шали на груди так нежно сводила, не дай Бог на TV дунет...

Вера Ивановна всегда знала, зачем она что делает... Сейчас она не знала, зачем она сидит на лавочке. Она: смотрела на часы и на ротондочку, что прилепилась к кудлатой горе, слушала, как стучит мяч на корте, и тупо думала: зачем?

...Они появились в их поселке во время войны – женщина и девочка. Беженцы из Ленинграда. Вернее не так... Женщина и девочка отдыхали где-то на юге, началась война, они отчаянно ринулись домой, но не доехали.

Отбросило их военной волной назад, и они оказались в их поселке. Без всего. И на зиму глядя. Мать и дочь. Постучали к ним в дом. Мама-покойница была очень смелая женщина. Ночь не ночь, открыла... А надо знать то время... Было безвластие. Наши уже ушли, немцы еще не пришли. Люди с топорами ложились, потому что бандитизм пошел страшный. Откуда что взялось; только выяснилось, что людей, которые могут тебя презирать сколько угодно, и прирежут, и спалят, а главное, знают, проклятые, у кого что, у кого где. Эти несколько дней безвластия стоили некоторым всей войны. Все люди враз теряли. Потому с топорами и ложились, двери не открывали, а мама тогда пошла и открыла, и пустила их. Ну, правда, без всяких там нежностей. На пороге оставила, дальше ход загородила.

– У меня свой ребенок, женщина, – сказала она твердо. – Куда мне еще ваша? – Это на просьбу приютить хотя бы девчонку.

Категорически отказала, но совет дала. Пока еще не зима, сказала, деваться вам некуда, занимайте, мол, саманный домик, пока те пустые стоят.

Саманные домики, три штуки, поставили перед самой войной для цыган. «Живите, – сказали им, – как люди, под крышей, трудитесь на благо».

Цыгане благодарили шумно, у председателя митинга по случаю заселения пропаяй часы, а линейка, на которой он приехал, осталась без лошади. Но это не испортило праздник, а даже наоборот... Настроение у всех повысилось, все смеялись до боли в животе, но в магазине тут же раскупили лежалые замки, засовы и щеколды. В одночасье перестали топить щенят и стали заискивать перед хозяевами, имеющими сук-овчарок.

Вскоре после митинга появились на базаре рамы из окон, колосник из печки, двери, стекла, в общем все, что можно было из саманных домиков вынести. Народ все скупал и снова смеялся. Уже начальство из области приехало к цыганам, приобщать их к культурной жизни, но цыган как ветром сдуло. Как и не было. Стояли пустые с черными проемами окон домики, будто после хорошенького боя. Дети полюбили в них играть. Это ж где еще дадут тебе возможность прыгать в окна, карабкаться на крышу, в уборную ходить, где тебя нужда застала. Хоть посреди комнаты. Воля.

Вот на эти домики Верина мама и указала беженцам. Все-таки крыша не продана и стенки пока стоят. Маме вообще бы быть начальником. Светлая голова была, царство ей небесное. Она давно думала, что зазря пропадают эти крыши и стены. Дело в том, что им уже до войны самим было тесно. Дед с бабкой, мама с папой, Вера в двух крошечных комнатках, пятнадцать квадратных метров. Мама мечтала захватить брошенный домик. Но как это сделаешь? Мама и послала туда эту женщину, посмотреть, что будет из самозаселения? Она даже не побоялась ночью ее проводить. Взяла свечку, спички, хлеба, огурцов и повела.

А nasledующий день мама пошла уже с ней, с Верой. Понесла старое одеяло, подушку. Эти забились в угол кухоньки самого крайнего домика. Здесь чудом осталась цела печка и сохранились внутренние ставни. Оглядела мама весь участок земли вокруг домов, прошла туда-сюда и нашла им дверь. Дверь валялась в грязи, ручка у нее была оторвана, а петли кто-то выковыривал, выковыривал и бросил.

- Навесите, – сказала мама, показывая на дверь.
- Как? – прошептала женщина. Она за мамой ходила как лунатик.
- Руками, – закричала мама. – Вы кто такая будете?
- Ольга Николаевна Зайцева, – тихо ответила женщина.

– Да зачем оно мне, ваше имя? – совсем возмутилась мама. – Я с вами ручаться не собираюсь... Я в другом смысле... Дверь я вам указала... Кой-где в других хатах стекла остались... Выньте... И живите пока, раз такое дело.

– Но я сама не сумею, – прошептала женщина.

– Ой, ой! – ответила мама. – Зачем только такие люди на свет рождаются... Безрукие...

Ольга Николаевна стояла, опустив голову.

– Ладно, – сказала мама. – Я пришлю вам Федю. И они пошли с Верой к Феде. Феде-плотнику. Дети его боялись и дразнили, Вера сама не раз убегала от него. Конечно, убегала – сильно сказано, потому что ходил Федя на корявой деревянной лапе, ремнями подтянутой к колену. Глупые они были, дети. Но им нравилось залечь у Феди на огороде и кричать оттуда:

– Федя-беда курага, деревянная нога.

Федя подымал с земли камни и выбивал их из огорода по одному. Вот от руки его меткой и надо было убегать. Ловко он подбивал. И не жалел ни капельки. Кричал: «Я тебе сейчас, сучонок...» Поэтому Вера в дом к Феде не пошла, осталась на улице. Мама же сходила, поговорила, вернулась и сказала Вере:

– Оно мне надо, чужое горе? Но такой я человек... А потом выяснилась странная вещь. Так мама сказала бабушке:

– Скажу тебе страшную вещь...

Будто бы эта Ольга Николаевна заплатила Феде за навес двери тем, чем платит женщина, когда у нее ничегошеньки нету. А Эльвиру в этот момент она отправила – это ж надо, какая изворотливая! – нарвать цветочков в степи. Дите пошло, а какие цветочки в ноябре? Полынь засохшая да лопухи квелые, коровами писанные. Ходила эта дурная девчонка по полю, люди со своих дворов смотрели и только руками разводили.

Какая же у нее мать! И в шурф ребенок может провалиться. И опять же цыгане. Опять курится у них табор под боком поселка. Чего им стоит скрасть ребенка, а потом продать? При этих словах и мыслях мама хватала Веру и изо всех сил прижимала к своей груди.

Пришли немцы.

Еще вечером никого не было, а утром их собачий язык уже повсюду. Пошли по домам, расселяться.

И в их «зале» появился рыжий толстый Курт. Пришлось им сбиться в одну комнату, и тогда мама сказала бабушке с бабушкой:

– Нечего ждать. Перейдете в саманный домик к этой... Печка там топится... Стекла вставили...

– Там же пол земляной, доча, – ответила бабушка.– Как бы не прихватил ревматизм...

– Эта ж живет с дитем малым, – закричала мама.– А тут мы за ночь весь кислород выдышиваем... Одно бздо остается...

Короче, переехали старики к Ольге Николаевне. С маминой легкой руки и другие домики пустыми не остались. Уже зимой во всех саманках жили.

Ольга Николаевна и Эльвира так и занимали кухню. Был у них деревянный топчан, сделанный тем же одноногим Федей, Табуретка, на которой они ели. Мама, когда стариков переселяла, подбросила им этажерку со сломанной балясиной. Чайник заварной отдала без крышки. И какое-никакое тряпье. Но скоро выяснилось: не нужно им было мамино добро, потому что Ольга Николаевна пошла работать в управу машинисткой.

– Мне ребенка кормить надо, – твердо сказала она маме.

Маме очень не нравилось, что дедушка с бабушкой Ольгу Николаевну не только не осуждали, но вроде бы как понимали и сочувствовали. Мама как-то не уследила, видит, а старики из одного полумыска с Эльвирой кулеш едят. Полумысок мамин. И пшено ее.

– Откуда у вас сало? – спросила мама.

Сало она старикам не давала, считала, что им оно не по возрасту. И не ко времени. Мама так говорила:

– Сейчас питать надо в первую очередь детей и среднее поколение. Тех, кому оставаться. А старики должны иметь соображение... Откуда у этой лярвы сало?

Своим чередом шла война. Менялись немецкие постояльцы. По их настроению угадывали о том, что было на фронте. Увели евреев. Открыли школу. Вера и Эльвира сели во втором классе за одну парту. Вечером в саманном домике они заклеивали в учебниках портреты вождей. Бабушка крестилась, глядя на это дело. Дедушка вздыхал. Ольга Николаевна вырезала из бумаги квадратики.

– Девочки, мажьте по самой, самой кромочке... Ах, Эля! Ну зачем ты клеишь середину, смотри, как аккуратно делает Вера.

Так жили... Был еще Федя-плотник.

– На черта он ей теперь нужен? – смеялась мама. – У нее ж теперь небось офицеры, зачем ей инвалид?

Никаких офицеров Вера не видела, а вот как приходил Федор с деревянным ящичком, в котором лежали все его инструменты, это видела не раз.

Обходил домик, смотрел, где что надо сделать. Утеплял.

– Ну что, – спросила мама, встретив его на улице, – прошил дорожку?

Молчал Федор. Ширк-тырк деревянной ногой, действительно, как прошивал... Очень это маме не нравилось. Однажды вечером, уже зимой, когда немцы гуляли на своем рождестве, мама крикнула Федору с крыльца.

– Зайди!

Зашел. Видела Вера, шел Федя неохотно, как наказанный.

– Чего ты, Нюся, пристаешь? – сказал он тихо, чтобы Вера не слышала, а она услышала и уже не отлипла от притворенной двери. – Ну чего тебе надо?

– А чем же она тебя приворожила? – тонко закричала мама. – Какой такой травой-муравой? У тебя ведь смолоду другой был интерес.

Как он засмеялся! Жизнь прошла, а помнит Вера Ивановна этот его смех, грубый, злой, аж свистящий. Отсмеялся и сказал:

– А ты че, Нюся, задний ход даешь? Или? Мама, как курица от кошки, захлопала крыльями, запетушилась...

– Ой! Ой! Ой! Сказал! Я не такая, Федя, не такая, чтоб задний ход давать. Мне просто за тебя обидно, что ты непринципиальный...

И тут Федя так заматерился, что Вера от двери отпрянула, покраснела и уши руками закрыла. А когда открыла, то Федя стучал деревяшкой на крыльце, а мама рыдала в голос. Вера испугалась, кинулась к ней, а мама кричала:

– Не будет ей счастья, сроду не будет, помяни мое слово – не будет ни ей, ни Эльке этой шелудивой!

Ничего не поняла тогда Вера, с мамой такого не было, чтоб вот так она плакала. Но мама вскоре сама все и объяснила:

– Ты, дочка, уже не маленькая. Знай... Этот Федя... Он смолоду, когда еще с обеими ногами был, ухаживал за мной. Я семилетку

кончала и замуж за него собиралась, а тут этот проклятый паровоз его переехал. Ну подумай... Зачем мне одноногий? Я ему так и сказана. И вышла за папу... Федька руки на себя накладывал, но я этого не понимаю... Нет же такого закона, чтоб заставлять человека жить с одноногим. Я ж нормальная, я просто красивая, можно сказать, была. И люди не осуждали меня, потому что своей волей за калеку никто не пойдет... Жизнь одна у человека, и чего ж это себя обрекать? Я ему по-человечески: как тебе не стыдно петлей пугать родителей? Они ведь ко мне прибежали, мать его передо мной упала... Не бросай, говорит, я тебе ноги буду мыть и воду пить, у меня, говорит, кольцо есть червонного золота и сережки золотые, все твое будет, а Федю, мол, выучим на умственную работу, счетоводом там или бухгалтером... Будет всегда в чистом, интеллигенцией...

Я им ответила: «Извините, не надо мне вашего золота...» А теперь – видишь? Это же я надоумила позвать его дверь навесить. Он же на этом не остановился. Эльке валенки подшил... Ольге зимнее пальто справил... За те самые, что мне причитались, сережки. Мать его перед смертью их из ушей вынула, кольцо сняла и сыну все отдала. «У тебя, сказала, хватит ума с этим меня похоронить». Так он продал эти сережки для этой лярвы. Ты запоминай, доча, запоминай, какие люди на свете есть...»

А Ольга Николаевна и Элька так и жили вместе с бабушкой и дедушкой. Получалось, что вся их жизнь была на виду у Веры. И хоть мама настаивала, чтобы старики «с этими» дела не имели, как же не будешь иметь, если одна печка? А Ольга Николаевна так и продолжала их прикармливать... Старики же, то, что им перепало, сами не съедят, Верке оставят... То кусочек маслица, то гороховый концентрат. Клубком, получается, жили... Федя, к примеру, сделал мельницу. Камень очень хороший нашел, мука получалась, как довоенная. Мама ходила молоть. Придет с зерном к Ольге Николаевне, без «здрасьте».

– Я молоть...

– Пожалуйста...

Мама мелет, аж искры летят. Опять же – никаких там «спасибо»... Мама считала, что они ей по гроб обязаны и за саманный домик, и за чайник, и за этажерку. И за Федю!

Какая была Элька? А никакая. Забитая. Не в том смысле, что ее кто обижал, а в том, что у нее природа такая. Все молчком, молчком...

– Ох, и хитрая дытына! – говорила мама. – Я этих молчаливых насквозь вижу. Так и жди от них чего-нибудь, так и жди...

Вернулись наши. Засобиралась Ольга Николаевна в Ленинград. Дедушка с бабушкой в слезы, а потом говорят маме:

– Доча, дай им, пожалуйста, наш чемоданчик фибровый, а то им ехать не с чем...

– Да вы что? – сказала мама. – Чего это ради? Федя принес им свой деревянный. Нанял у цыган подводу, отвез на станцию.

Назад ехал, мама ему из ворот крикнула:

– Чего ж они тебя не взяли? Федя даже головы не повернул. А через месяц вернулись...

Все у них в Ленинграде разбомбило, никого из родных не осталось, да и вслед им письмо кто-то послал, что работала Ольга Николаевна в управе. Что там было и как – неизвестно, только пришлось им вернуться... Умер дедушка, а они так и жили с бабушкой. Папа тогда уже с фронта пришел, мама забеременела Мишкой, потом голод был, в сорок седьмом... Мама стала худая, синяя, а Мишка был бутуз ничего себе... Ольга Николаевна, Элька и бабушка давно только из одного котла ели, а то и Федя с ними. Ширктырк – ходил он к ним, и все чего-то несет, то съестное, то из одежды.

Сначала Ольгу Николаевну на работу не брали. Из шахтоуправления звали иногда кое-что перепечатать, но неофициально. И она пошла работать уборщицей, ну, а потом кто-то из начальников решился и ее приняли по специальности. Но потребовали: «Докажите, что ничего не делали при немцах против народа». И Ольга Николаевна пошла по домам собирать подписи, что народ против нее ничего не имеет. И некоторые люди, конечно, засомневались: «А что мы знаем? Мы там были?» Но все-таки большинство – жалко что ли? – подписало. Бабушка аж печатными буквами написала свою фамилию, за что мама ее сильно отругала.

– Удивляюсь тебе, – сказала. – Удивляюсь! Ну, другие – идиоты. А ты что своим умом думаешь? Да за одно сожительство с Федором ее надо сослать в Сибирь. Какой пример молодежи?

К маме Ольга Николаевна за подписью не пришла, а Вера знает: мама тогда ждала. На каждый собачий «гав» выскакивала, когда Ольга Николаевна шла по их улице; А та возьми и пройди мимо со своим листком из тетради по арифметике. Ой, как мама зашла! Папа ей:

«Охолонь да охолонь!» Мама же кричала: «Я ей сказать хотела! Я ей все сказать хотела!» И мама сказала им с отцом, потому что горячие слова жгли ей нутро, и не скажи она их, неизвестно, чем бы это для здоровья кончилось.

– Ишь, как присосалась к жизни! А если бы не я, что с ней было бы? Кто ее за руку под крышу отвел? И меня же, лярва, обошла. Знает, что никаких подписей я не поставлю. Я спрошу: а как у тебя совести хватило идти в управу? Есть нечего? А ты не ешь! Бывало, люди и не ели... Те же ленинградцы... Но она, видите ли, хотела есть! Этого я ей не прощу никогда!

– Что есть хотела? – засмеялся папа.

– Ты дуру из меня не делай! – закричала мама. – Но я не желаю дышать с ней одним воздухом. Нет такого закона, чтоб на одной земле нам жить!

Так вот мама накалялась, но, если разобраться, было ей непросто. Мать-старуха ведь жила с Ольгой вместе, Вера туда-сюда бегала. Мама сама на их дворе посадила грядку огурцов и всякой зелени и сразу же всем сказала: «Двор этот наш». Говорят, Федор как-то хотел все мамино повыдергивать и вытоптать, но бабушка стала плакать, и он ей вроде сказал:

– Мамаша, только ради вас...

А что такое огород? Это вскопай, полей, прополи...

Так что сколько в своем дворе, столько и в том они трудились. Ольга по кромочке их огорода посадила в один рядок картошку, мама смехом зашла. Земля-то не картошечная. Ничего и не уродило, так, горох, а не картошка.

Вера с Элькой подрастали. С учебниками было плохо. Цены были такие. Литература, история, география – толстые книги стоили по сто—сто двадцать рублей, теми, конечно, деньгами. Математика – по сто. Таблица логарифмов – пятьдесят. Некоторые книги были у Веры, некоторые у Эльки. Приходилось меняться. Маме это не нравилось. Вера, бывало, и не говорит, что берет книжки у той. Но мама очень бдительная, она заметила, оказывается, как Элька книжки обворачивает.

– Опять у нее одалживаешься! – кричит она на Веру. – Что ж ты такая у меня непринципиальная?

Тогда Вера шла к бабушке и там занималась. Это мама разрешала. Даже больше, поощряла бывать там почаще, чтоб «эти» не думали, что они в доме хозяева. Мама все говорила: «Надо нам дом оформить».

Незаметно вроде, а пришел девятый класс, и стали их с Элькой принимать в комсомол. Ну, Веру – единогласно и без всякого. А вот Эльку...

Накануне мама сказала папе:

– Разве ж можно нашу Веру с ней сравнить? У Веры биография незапятнанная, отец фронтовик, а что мы про Эльку знаем? Мать служила в управе, про отца вообще никакой ясности... Может, он тоже предатель... А поведение? Живет ведь она с одноногим, как пить дать живет... Разве ж можно им давать одинаковый старт, девчонкам? Это и нечестно, и несправедливо... Что там в школе думают?

Вера не собиралась выступать, она даже тогда не знала, умеет ли это делать, но, когда подняли Эльку и та встала перед классом, вся такая побледневшая и губу до крови закусила, Веру как кто-то с места сдунул. И она подняла руку и сказала, аж дрожа от никогда ранее неиспытанного восторга борьбы за правое дело:

– Зайцеву Эльвиру принимать в комсомол нельзя, потому что у нее плохая биография. Мать ее служила в управе, а отца никто не знает... И вообще...

Все на нее тогда глаза вытаращили и смотрят, и ничего не говорят, и в первую минуту Вера вдруг почувствовала жгучий, просто нестерпимый стыд, хоть умирай, но тут вскочил представитель райкома комсомола и сказал:

– Молодец, Вера! Предостерегла нас всех от вопиющей ошибки...

А Элька возьми и рухни. Стояла-стояла и рухнула. Схватили ее, отнесли в учительскую, привели в чувство, но проголосовали единогласно против.

Все тогда на Веру смотрели так, будто первый раз увидели. Да она сама замерла от удивления перед самой собой. Будто раскрылось в ней что-то и выпростался новый человек, смелый, решительный, со звонким голосом. Голос этот сразу взяли в работу, и не было вечера, концерта или собрания, чтобы она его не вела, постоянно объявляющая.

С того дня она к бабушке ни ногой. Даже мама, сначала довольная, потом ее не всегда понимала.

– Укроп вполне можно сходить и нарвать, принципы твои не пострадают.

Вера только шеей дернет. А Элька с того дня в школу не ходила, лежала дома. Что у нее, никто не знал. Ольга ходила с черным лицом, бабушка плакала и смотрела на Веру так, что маме пришлось ей строго сказать:

– Ты что на ребенка смотришь как на врага? Она твоя внучка, а не Элька... Так странно, что тебе приходится об этом напоминать.

А потом пошел слух – у Эльки скоротечная чахотка. Кожа и кости остались. Мама сказала бабушке:

– Не ходи к нам. У меня дети, а ты можешь принести палочку Коха.

И снова засобиравшись Ольга Николаевна уезжать. На этот раз и Федя с ними. У Веры было тогда много своих дел, захватила ее общественная жизнь: то вечер надо готовить, то по домам отстающих пройтись, то школьную газету выпускать, у нее стал проявляться интерес к литературе – она писала стихи к датам. Но надо же тому случиться, что столкнулась она на дороге с этой подводой, на которой те уезжали. И не вспомнишь сейчас, чего это она оказалась на развилке, ведущей к станции. Получалось – вроде ждала. А не ждала, В мыслях не держала.

Элька лежала на соломе, как покойница, ногами вперед. Рядом с подводой шли Федя и Ольга Николаевна. А цыганенок-кучер, сидел, свесив грязные ноги,

и смотрел на торчащие лошадиные кости. Вид у него тоже был как у человека, везущего не живого, а покойника. Вера, когда сообразила, кто прямо на нее едет, хотела метнуться, а куда? Так они приближались, и Вера подтянула живот и почему-то успокоилась, потому что вот какие мысли пришли ей в голову. Эля умрет, это все говорят. Но ведь лучше смерть, чем жизнь с такой биографией! Сейчас подъедет подвода, и Вера посмотрит в глаза Эле подбадривающе и ободряюще. Если бы не Ольга и не Федя, она бы даже ей сказала: «Элька, в твоём случае смерть лучше!» Поэтому Вера даже двинулась в их сторону, считая, что ее поступок будет хорош и благороден, ведь она не погнушалась, а проводила Эльку в последний путь.

И тут ей наперерез с палкой, взятой в руки так, что не могло быть сомнений, что ею собираются делать, пошел Федя, одетый в два

пиджака сразу и в ботинок с галошей, хотя было тепло и сухо.

– Не надо, Федя, – тихо сказала Ольга Николаевна.

И Федя так скрипнул зубами, что цыганенок обернулся, а Вера закричала и побежала прочь, продолжая кричать, пока не упала маме на грудь, не рассказала ей, как замахнулся на нее Федя, и, если бы она не убежала, он бы ее, Веру, если и не убил, то покалечил бы наверняка.

Рванулась мама с места, схватив кнут, которым гоняли коз в стадо, просто полетела к дороге.

Что там было – неизвестно. Только с этого дня у мамы случился тик. Нет-нет, а задергается глаз, и ничто его не остановит, пока сам не усмирится. Мама тогда закрывала его ладонью и смотрела на мир одним глазом зло и гневно, и каждый раз Вера в такую минуту вспоминала Федю, даже не его самого, а его ногу в ботинке и галоше, вроде бы как парадную ногу, обутую для какой-то другой жизни.

– Черт с ними, и слава Богу, – сказала мама. Прежде всего она сделала в саманном домике дезинфекцию. Тряпье какое осталось – спалила.

– Живи теперь в чистоте, – сказала бабушке, а та все плакала, плакала и все письма ждала. Сидела на лавочке и ждала. Только, конечно же, никто ей не написал.

А у Веры все пошло и дальше хорошо. Окончила школу, потом институт. Замуж вышла очень удачно. Мама говорила:

– Вера, это нам за честную жизнь кто-то ворожит... Своего не отдавали, но и чужого не брали.

Мама в старости лет очень полюбила эту тему.

– Я хоть и простая домохозяйка, а скажу хоть на трибуне, – объясняла всем. – Я сроду ни за спичками, ни за солью по хаткам не бегала. Нету – перетерплю. А тех, кто вечно позывает, – с порога... У меня такая молитва: печка топится, еда варится, дети – слава Богу, муж на работе, здоровье какое-никакое и – тьфу, тьфу! И за справедливость всегда скажу. Я так думаю: все не равны. Есть которые заслужили хорошую жизнь, а которые нет. У Веры моей и у сына дома полная чаша, потому что они сразу были поставлены на правильную дорогу...

– Ах, перестань, мама, – говорила ей, смеясь, Вера. – Ты как начнешь про дорогу...

Мама обижалась и замолкала. Ходила по Вериной квартире, руками все нежно трогала, тряпочкой невидимые пятнышки оттирала

и в какой-нибудь момент все-таки досказывала свое:

– Помнишь Клавку? С тобой училась? Ну та, что школу бросила в восьмом? Рак у нее... И я так думаю, не случайно... Учиться не захотела, села родителям на шею, дитя неизвестно от кого принесла...

– А рак тут при чем? – качала головой Вера. – Он что, анкеты смотрит?

– Смотрит! – говорила мама. – Еще как... А Любка? Три раза замуж шла... Ну? Это, по-твоему, что?

– Она хорошо живет с третьим...

– Вера, ты что? Это ж, какие надо иметь понятия, чтоб три раза!

Когда отец умер, Вера хотела забрать маму к себе, но мама как отрезала:

– И не думай! Хозяйкой всю жизнь была, хозяйкой умру. Сама положу, сама возьму.

Бог дал ей легкую смерть, во сне. И Вера, перебирая вещи в мамином доме после похорон, думала о том, что права была мама, говоря о том, что все получаешь по заслугам. Хорошую она прожила жизнь. Ходила по улице прямая, строгая, в глаза людям смотрела не отрываясь. Не все даже этот взгляд выносили, отворачивались. Вера потом уже своей дочке стала говорить:

– У тебя, доча, все будет хорошо, если будешь жить по-честному... Мы такая семья...

Дочка вполуха. Ну, да что там говорить! Она, дочка, может, и не знает, как это не по-честному, дома ничего плохого не видела, в школе тоже дурному не учат, а если что вокруг появлялось, Вера – каленым железом.

– Чтоб я в доме не видела... Ту или эту...

И всегда как в воду глядела. Был такой случай. Повадилась к ним одна пигалица. Глазками все шарит, шарит... Конфеты стоят: «Можно возьму?» Вера выяснила: дочка билетерши в кинотеатре. Стала Вера наблюдать. Дочка балда, дает свои вещи примерять, а потом к матери:

– Мамочка, мамочка! Лена меня меньше, я из платья выросла, давай ей отдадим...

Вера сказала:

– Хорошо. Это платье, что она надевала на свое грязное тело, давай отдадим, но чтоб ноги ее больше не было...

Через год эта Лена попалась на воровстве. Украла меховую шапку. Родители и даже учителя хотели историю замять, жалели и билетершу и девчонку. Даже какое-то оправдание-объяснение нашли: валялась шапка на полу в кино, девчонка, мол, даже кричала, чья шапка, никто не откликнулся, она взяла себе, а потом пришла милиция...

– Думайте, что говорите, – сказала Вера, – так просто милиция не приходит. Подымите руки, кто знает в лицо своего участкового? Никто... Вот и все. А к билетерше пришли... И обсуждать тут нечего... Сами не жалуемся, что воруют...

Нет, Веру не собьешь. У нее потому и жизнь кристальная. Когда ей исполнилось пятьдесят лет, ей так и написали на глянцевой бумаге. И вечером она сказала мужу:

– Вот знаешь, Коля, может, юно и не совсем удобно так про себя, но я тебе скажу: все, что тут написано про меня, чистая правда. Разве нет?

– Конечно, Веруня, – тихо и ласково ответил Коля. – Ты настоящий человек.

Вздернула Вера гривастой головой: воистину настоящий. Жизнь прожила, как песню пропела. Не прожила, не прожила, не прожила, себя же поправила. Какие

годы, пятьдесят лет? Самое, самое... Дальше может быть только лучше... Болезни, старость – глупости. Ничего этого у нее не будет. Она до конца будет на ногах и умрет ночью, как мама... Как праведница...

...Сейчас Вера Ивановна сидела на лавочке, ощущая боль в позвоночнике. Верный носитель ее крупного тела как-то враз застонал от тяжести, просто требовал, чтобы она легла. Но уйти было невозможно. Ее держала эта женщина с плохими волосами, с нездоровым цветом лица, вся согнутая под широкой вязаной шалью. И смотрела она на нее так, будто хотела разглядеть в ней что-то ей одной желаемое. А она, Вера Ивановна, вместо того, чтобы сказать: «Что это вы на меня уставились?» – истончалась, истончалась, превращаясь в предмет простой и прозрачный, видимый насквозь. И еще вдруг выяснилось: Вера Ивановна, оказывается, держала в руках эту проклятую книжонку, из-за которой все началось. И теперь она не знала, что с ней делать.

– Про что пишешь? – спросила Вера Ивановна неестественным голосом.

– Про наше с тобой детство, – ответила Эля. «Ай!» – мысленно вскрикнула Вера Ивановна и опять рассердилась на себя...

– Как интересно! – сказала она и открыла обложку. Опершись култей на деревянную ногу, стоял на титульном рисунке Федя-инвалид. И в руке его была занесенная над Веринной головой палка.

Вечером, неожиданно для администрации санатория, уезжала пара. Вызванный из дома директор не мог понять причины отъезда, нервничал и требовал написать, что претензий на обслуживание, лечение и питание у отъезжающих нет. Коля тут же взялся за ручку, действительно нет у них претензий. Но Вера Ивановна посмотрела на него так, что он тут же ручку положил. А значит, получалось, претензии есть, но о них не хотят говорить.

– Ну что? Что? – нервничал директор.

Вера Ивановна пожала плечами. Такое просто сделала движение, но ломило плечи, как при гриппе...

Муж ничего не понимал, но Вера Ивановна такой человек... Раз она сказала: «Ноги моей тут не будет», то уже и обсуждать нечего. Коля нес за женой чемоданы, мысленно доигрывая неоконченную партию в шахматы.

Вера же Ивановна не думала ни о чем. Спугнутые с насиженных мест мысли бились в поисках выхода, мешали друг другу, родилась злость, потом паника, потом ненависть, потом возмущение миром, в котором царствует несправедливость.

– Сволочь одноногая, – тихо сказала она. – Ах ты сволочь.

– Да уж, да уж, – ответил Коля. – Холодает... Год на год не приходится.

Хотелось ударить мужа, ударить сильно, ногой, ударить гложущего и слабого, не могущего изменить ни обстоятельств времени, ни обстоятельств места, ни обстоятельств действия. Может, из-за таких бесхарактерных и безвольных, как он, и жила на свете та, которой правильнее было бы умереть в цыганской подводе?

Кто ж еще смел наворожить Эльке жизнь? Кто?

notes

Notes